

БАБА ДУНЯ

(рукопись)

Сергей Жуков

1

В 1990 году я впервые посетил Горный Алтай. В деревне Верхний Уймон мне в голову пришла идея, признаться, весьма неожиданная: основать в этих местах Мировой центр космической философии, один из мыслительных центров планеты. Идея эта получила отклик, стала обсуждаться, обрастать деталями. Летом 1992 года я снова поехал на Алтай...

Мне хотелось пожить среди местных людей, осмотреться и, если повезет, выбрать место для философского центра. В самолете, следующем из Горно-Алтайска в Усть-Коксу, я разглядывал горы сквозь круглое окошко, время от времени косясь на молодую соседку, чья упругая грудь вызывающе колыхалась под тонкой маечкой.

Девушка оказалась попутчицей. Транспорта, следующего в Верхний Уймон, мы не нашли и двинулись пешком. Километров двадцать протопали по асфальту, потом начался гравий. Если б не две сумки да жара, я наслаждался бы видом широкой плодородной равнины, окруженной высокими синими горами, нереально прекрасными за толщей праздничного, чистого, пронизанного солнцем воздуха, достойного кисти импрессионистов.

Нас подобрал водитель старенького "Москвича". Мы переехали длинный нависной мост над быстрой Катунью, миновали деревни Мульти, Тихонькую, и, обогнув скалистый отрог горы, въехали в Верхний Уймон. Здесь я расстался со своей милой спутницей. Встречавшая ее пожилая женщина посоветовала мне обратиться к бабушке Южаковой: "Попроситесь, может возьмет на постой".

Пройдя пыльной улицей мимо музея Николая Рериха, я обогнул почерневший от времени, ссутулившийся бревенчатый дом, отворил скрипучие ворота. В доме никого не было. Из огорода слышались режущие проходы косы. Крепкий пожилой мужчина в кепке, из-под которой выбивались жесткие кудри с проседью, обернулся на мои шаги. Прозрачно-голубые глаза его смотрели с живым любопытством.

- Нельзя ли остановиться у вас на несколько дней?

- Дом не мой, - улыбнулся мужчина. - У матери спрашивайте. Вот она, от соседей возвращатса.

Во двор входила высокая прямая старуха. Одета она была в кофту, разорванную на левом локте, и старую нестиранную юбку. Ее волосы убраны были в платок, лицо ввалилось и напоминало обтянутый сухой кожей череп. Руки, в старческих пятнах до локтя, сохраняли благородную стройность, ладонь, когда-то красивая, развитая, с длинными пальцами, была сплошь в пигментации, под ногтями виднелись черные полосы.

Несмотря на неухоженность, в ней чувствовалось достоинство.

Я повторил просьбу.

- Не... Мне постояльцы не нужны, - старуха напряженно вглядывалась сквозь меня.

- Не задаром же...

- И не упрашивай. Знаю я вас...

Я опешил.

- Куда же мне податься? Ночь ведь на носу.

- А куда хошь.

- Может, хоть чайку попьем? Я халву привез, сгущенку...

- Мама, давайте человека угостим, - вступился за меня мужчина. - Он ить с дороги...

Вас как величать-то?

Я назвал. Мы вошли в избу. В темной комнате с подслеповатыми окошками главное место занимала русская печь, от которой веяло спокойным жаром. Над кроватью хозяйки нависали деревянные полати. Узкий проход был устелен половиками. Кухонный шкафчик с нехитрой утварью, старенькое зеркальце и треугольная полочка в углу - на ней бы иконе стоять - дополняли убранство.

- Из Москвы, говоришь? Далёко, - Юлиан Андреевич (так звали сына хозяйки) удивлялся. - По делу аль отдыхать?

- Журналист.

- По делу, значит.

После чая старуха подобрела:

- Ладно, оставайся на ночь... Завтра поглядим. В комнате прибирайся сам. Васечка там хлам свой оставил...

- Какой Васечка ?

- Постоялец один. Учитель из Расеи. Жену чужу с собой припер. Полгода жил, свой нож не наточил. Жил в лесу, молился колесу. Ни богу свечка, ни чорту пятачок, - вымолвила она скороговоркой и засмеялась.

Я был рад-радешенек крыше над головой. Скреб полы, мыл окна, выносил ненужные вещи. Старуха заглянула, хмыкнула:

- Ишь ты, рукастый... - и ушла, покачивая головой.

Около десяти часов вечера я вышел во двор. Прямо с крыльца обступала глубокая темень с полоской полусвета на горизонте под черными облаками. Стояла теплынь. Густую, первобытную тишину не портили ни вздох соседской коровы, ни отдаленный лай собак, ни слабо-вспарывающий треск мотоцикла. Деревня еще бормотала и ворочалась перед сном на благоухающем ложе долины.

Наутро я вскочил ни свет ни заря и бросился к своим запискам. Потом вызвался помочь в косьбе. Мне выдали орудие труда, и я неловко начал косить, то забирая слишком высоко, то втыкаясь носом косы в кочку. Юлиан Андреевич быстро уходил вперед, широко и ритмично работая руками и корпусом. Время от времени мы останавливались перевести дух. Тогда хозяин подступался ко мне с расспросами:

- Александрович, я все хочу спросить: ну, почему за Сталина умирать шли? - чем-то же ить заслужил, расположил к себе? А этих, нынешних, ненавидят. Куда ж это годится: такую страну развалили...

Вокруг был рай земной, но и здесь от политики - никуда.

- Раньше был Союз, так хоть конфеты, хоть товар любой - везде производили. А таперича?.. И почему путчистов не судят? Они же ведь просят суда... Значит кто-то боится?!

Говорил он с напором, с улыбкой.

- Ты то ишшо молодой, а мне уж 61 год, я жизнь-то маненько видал. Такого бардака раньше не было...

- Значит, при коммунистах лучше жилось?

- Намного! Оне хоть воровали, но и другим давали жить... Не, я как был коммунист, так и остался.

- И партбилет сохранил ?

- А как же... Ты смотри, Александрович, те кто не работали, живут шибче нас. И пенсию получают полную...

Хозяйка то и дело приходила в огород: проведывать, как движется работа. Ругала Юлиана за невыкошенные клоки.

- Тракторист пьяный, ети его в качель, так перепахал, бугор на бугре, - оправдывался тот.

Однажды она повернулась ко мне:

- Сыночка, знашь како лекарство от головы? Болит сильно...

- Не-а. А должен бы знать - мама моя врачом была.

- А моя - проста деревенска баба. Чиста расеюха. И косить, и за коровами ходить...

А ткать была мастерица. И я поди ткать умею...

- А ить признала она тебя, - улыбнулся Юлиан Андреевич, когда старуха ушла в дом.

Чай мы пили от души, стаканов по шесть.

- Пей, Александрович, не жмись, - похохатывал Юлиан. - Молоко лей.

Бабушка потчевала своими яствами.

- Кушай, сыночка, яичко печено. Я его в печке сбоку-то испекла, жару нагребла.

Скорлупа яиц получилась прокаленной, белок - подрумяненным, желток - ярко-оранжевым. Раньше я таких и не пробовал.

- Вкусно... А в России так пекли?

- Ну дак, а как же не пекли? Таки же печки были русские, только не битые как здесь (глинобитные), а из кирпича сделанные... И сбоку казан вмазан: скот-то ведь на речку, как здесь, не гоняли, тут поили.

- На Алтае скот закаленный. Коровы через речку студеную бредут, и хоть бы что.

- Ну, как и люди. Закаленные...

Мне стало любопытно, как появилась баба Дуня в алтайских горах, отчего назвала мать свою "расеюхой". Старуха вытащила большой отретушированный "патрет" - бородатое крестьянское лицо в форменной фуражке с кокардой: "Это папа мой на ерманской [войне]". И поведала историю:

- Мы расейские, из-под Новгорода. Деревня наша больша была, с церковью посредине. Папа Михаил в семнадцатом вернулся с войны, привез шинель, котору потом в Верх-Уймоне сменял на хлеб. А дядя Гриша три года в тюрьме отсидел, уж не помню за что... Повстречались братовья, стали думать, как дальше жить. Есть в Расее нечего, а люди сказывали, что на Алтае земляца вольна да богата. И пошли они ходоками, потом за нами вернулись. Ехали мы поездом до Барнаула, лошадьми до Бийска, а уж оттуда в горы. Землю нам нарезали в Луково, недалеко отсюда. Мне одиннадцать годков едва ль было-то...

- Бабушка моя еще по-новгородски говорила, плавно, нараспев, - добавил Юлиан Андреевич.

К вечеру, как окончились труды, вышел я на край покрытой свежескошенной травой усадьбы (с домом - соток сорок), глянул кругом на долину, укрытую горами - благодать неизъяснимая. Густые дождевые облака низко распластались над долиной.

Чем дальше, тем отчетливее глаз стал притягиваться к логу, расположенному с противоположной от Катуня стороны деревни, и дальше - к распадку между горами, к самым белкам. Мне показалось, что Центр надо строить там, километрах в 10-15 от Верх-Уймона, в красивом месте, не мешающем выпасу животных. Пришло ощущение: поиск места надо вести в том направлении, и он не будет долгим.

Из Центра можно наведываться в деревню за продуктами, преподавать в местной школе; люди из Верхнего Уймона могли бы работать в администрации Центра. Отдаленное расположение не помешает сельскому хозяйству... Но улучшит ли эта затея жизнь людей в долине? Душа ощутила вдруг ответственность за хрупкий этот мирок, где люди не берут еще платы за постой, хлебосольно кормят постояльцев, угощают молоком, улыбаются друг

другу и незнакомцам.

3

Потянулись дни, занятые хозяйством: косьба, прополка, мелкий ремонт во дворе. Жизнь сия, простая и здоровая, пришлась мне по вкусу. Выходишь утром на улицу - роса на траве, горы синеют за Катунью, петухи горланят, в воздухе разлито спокойствие. Но самое замечательное - разговоры с Евдокией Михайловной, с бабой Дуней...

Она дает мне тазик для полоскания белья и сообщает заговорщицки, прикрыв ладонью рот:

- Детей здесь крещу.

Я смеюсь:

- Так они получают крещенные или погруженные?

- Ну. Погружены.

- А стирать-то в тазу можно?

- Ну дак а пошто нельзя? Сполосни в речке, да и все...

Привожу в порядок крытое крыльцо со ступеньками из толстенных досок. Лезу под скамеечки, разбираю наваленный-навешанный скарб: тазы, ведра, деревянные санки, тряпки... Жарко.

- А трико у тебя нету?

- А что?

- Да в плавках ходишь. Негоже...

- Отчего?

- Да у нас как-то мужики нагишкой не ходют - все в трико... Город-то культурнее должен быть.

- Город свободнее.

- На что она, така слобода...

Ладно, одеваюсь. Отваживаюсь на уборку сеной. Распахиваю настезь толстущую, тяжелющую дверь на петлях (ну и досочки: миллиметров 150!), крашеную в незапамятные времена зеленой краской. Так. Сначала половики. Ну и пылища! Теперь эта куча под деревянной лесенкой на чердак: топор, пила, ящик с резиновыми калошами, ржавый тесак, кованый гвоздь от дедов, запас пакли.

- Сто лет здесь не мыли!

Старуха шарит по углам:

- Я вот все смотрю, куда мои калоши-то делись... Они таки хороши были. Мне в этих-то ноге тесно. Да ты в них тоже однако косил... Неужели Юрка упер ? Я его тогда

отматерю... (Смеется).

Тумбочка. Шкапчик. Табуретки, уставленные банками со скисшим молоком (холодильника - нету!), прочими припасами. Берусь за окошко. Ой-е-ей! Составлено из осколков стекла, подоткнуто ветошью.

- Бабушка, есть стеклорез?

Хозяйка растрогана:

- Сынок, есть чего будешь?

- Голодаю сегодня...

- Слушай, с ума-то не сходи! А я надумала шанежки испечь. Знала бы, печку-то не затапливала.

- Не-ет, я не буду, спасибо!

- Ну дак а чо, это мода у вас така, што ли?..

Грязный по макушку, собираюсь на Катунь купаться.

- Это што за штуковина-то?

- Это - шампунь.

- А-а...

Голодание отменяется. Садимся с бабушкой пить чай. Я знай себе расспрашиваю про ее жизнь. Баба Дуня смотрит в окно:

- Здесь раньше мост был, канава, вода текла... Соберется на мосту табун - девки, парни, бабы, кто на балалайке играют, кто на гармошке. Пляшут, поют... А мы дак в Уймон приехали - мне двадцать пять лет было. Я тоже - с имя же. Ничо, весело было. В клубе собирались, танцуют. А теперь? Пьянка одна...

В бабушке - старушке ветхой - светится молодой огонь, озорство. Вспоминает себя девочкой, девушкой, молодой женщиной, и чувствует себя такой - скромной среди старших.

- Я молода бедова однако была. За мужиками на коне через Катунь в большу воду прыгала. Как-то раз упала с коня, ухватилась за уздечку - а коня-то понесло. Дядя кричит мне с того берега: "Держи коня!" Держу... конь чуть не захлебнулся...

- А в другой раз мы на телеге упали с моста - на Катунь уже лед был. Ухватилась я за кромку льда, тетка моя под лед же ведь ушла, выплыла как-то. А сродный брат Валера утоп, его мужик нашел на перекате - лежит, говорит, колышется... Хороший такой был.

Ест, капает на себя. И опять - мысли, мысли обо всех.

- Я бы еще покомандовала на колхозных буфетах-то. Все ведь буфеты, сыночка, были на мне.

- Какие буфеты?

- А к праздникам - к октябрьским, на 1 мая и на 8 марта обязательно.

- На всю деревню?

- Ну (это "ну" в Верхнем Уймоне заменяет "да"). На всю деревню. К октябрьским пельмени обязательно. Раз наготовили 24 тысячи штук, у меня здесь стряпали. Нанесем листов, раскатаем... А как раз оттепель была, они у нас и растаяли. Стали варить, порции побольше раздавать. А ничо, все скормили.

- А еще что в буфете?

- Пирог обязательно. Блины. Кралечки.

- Что это ?

- Ну, таки как хлеб, в масле варили... Вроде кренделя.

- С дыркой посредине?

- Ну. С дыркой. Его накагаешь, он распустится, а в масло положишь - подыметя. Вкусные - его ешь и еще хочется... Пиво - по сорок ведер варили (пиво на ржаной муке, 40 градусов!). Раз тут недавно на собрании я сказала: "Мы-то не так веселились, как вы. По сорок ведер пива варили". Мужики - как грохнут...

- Смеялись?

- Ну. А я им говорю: "Вы думаете, много? По литру на человека достанется, дак хорошо. Передовикам - по полтора литра." Они опять - как повалятся...

Так своеобразен бабушкин язык, что я прозреваю: надо записывать сразу, потом забуду ее обороты.

- Ой...

- Ты куда?

- В туалет.

Бегу в свою комнату, делаю быстрые записи, возвращаюсь... Хозяйка сидит со слезами на глазах.

- Что такое?

- Володенька-то, не уехал бы в Бердянск, жил бы спокойно дома (я уже знаю, что ее младший сын умер от разрыва сердца при купании). Обнял меня-то, сказал: "Мамка, береги себя", и на сердце пожаловался. Я-то живу, а его нету.

- Еще живите, бабушка у вас в 90 лет померла...

- Чижало, сыночка. Раньше домом правила, а теперь што - выглядываешь, всех просишь: сделай, пожалуйста...

4

Верхний Уймон (Верх-Уймон по местному) - деревня особенная. Издавна славилась на весь Алтай староверскими, духовными традициями, а позже причастностью к семье

Рерихов, посетивших ее во время трансасиатской экспедиции. Рерихи прожили здесь 12 дней, с 7 по 19 августа 1926 года. Останавливались у Вахрамея Семеновича Атаманова, которого Николай Константинович называл Пантелеймоном-целителем. Сестра Вахрамея, самородная художница Агашевна, расписывала детали дома, в котором живет моя старушка.

Дуня видела семью Рерихов в деревне Луково. Ей было двадцать лет. Подходила близко к Николаю Константиновичу, он сидел на коне верхом, небольшого росточка, с бородкой. (В местном музее есть фотография: З.Г.Лихтман, Ю.Н.Рерих, Е.И., Н.К. - он во френче, в сапогах и шлеме. Елена Ивановна сидит на коне несколько мешковато, в походном платье). Бабушка запомнила ее в соломенной шляпке, «большу», то есть, высокого роста. Поговорить не удалось - дядя отогнал: незамужняя девка, нескромно. А Дуне страсть как хотелось пообщаться: характера была бойкого, активистка...

- Рерих знающий был. Он все Вахрамея-то в лес водил, травы разные лечебные ему показывал.

- Может, Вахромей - ему?

- Не, он Вахромейю!

...На усадьбе Атаманова трудятся двое молодых людей, черноголовый и белый. Их задача - восстановить исторический облик хозяйства: амбар, скотный двор и прочее. Имеются планы постройки молельного дома для староверов и школы искусств для детей. Бабушка ворчит:

- И что вы все к Рериху прицепились? Смотрю, Атамановскую-то усадьбу восстанавливают. Бандиты же были. Кулаков восстановить хотят.

- Не кулаков, бабушка, а историю. А если и все богаче жить станут - неплохо.

- Куда уж богаче, как теперь-то? Все поди скот держат... Председатели колхозные - Мандрыгин, Шафейкин, Золотарев - хорошие мужики были. А этот, кержачонок-то, Огнев, растяпа: ни дать, ни взять, ни украсть, ни покараулить... Раздолбай бляхин.

Откуда у старушки нелюбовь такая к кулакам? Расспрашиваю и узнаю, что отца ее, Михаила, застрелили в 1922-м, когда он ехал в уймонский сельсовет. Не успел слезть с коня - хлопнул выстрел, и рухнул на улице. Было это в дни крестьянского бунта; убил его кто-то из отряда "кулака" Василия Пантелеймоновича Атаманова, хоть последний и не желал крови земляков: сам крестьянин, и поднялся-то против красного террора... Дуня Южакова стала активисткой и получила дом, отнятый Советской властью у староверов Огневых. Вокруг дома до сей поры существует напряжение в Уймоне.

Деревня на всю жизнь оказалась расколотой на "большевиков" и "бандитов". Слышал я легенду о том, как попал в засаду полк молодого красного командира Петра Сухова, как отомстили за него товарищи, рубя головы шашками у скалы Притор, что на

Катуни. И как грянули в начале двадцатых годов знаменитые крестьянские бунты, и бежал побежденный Васька Атаманов в Китай, чтобы вернуться через много лет, отсидеть срок в тюрьме и умереть в родной долине... Мне, внуку красноармейца, воевавшего в этих горах, грустно: все они теперь в земле лежат - красные и белые. Все русские люди, и не нам, внукам, делиться...

5

Мало помалу начал я освобождаться от добровольного бремени хозяйственных забот и принялся бродить по деревне. Она насыщена живыми душами. В палисаднике почты, у памятника красногвардейцам, погибшим за Советскую власть, по-братски щиплют травку хрюшки и телята. Музей Рериха с библиотекой смотрятся неожиданно в этом глухом уголке, где до сих пор разезжают на лошадях, а бляенье, хрюканье, мычание, кудахтанье, собачий лай и птичий щебет составляют непрерывную музыку каждого дня.

Деревня обнесена металлической сеткой. Выезды устроены так: яма, перекрытая металлическими трубами, уложенными с промежутками. Это ухищрение - против разбредания скотины. Впрочем, скотина приспособилась: форсирует препятствие прыжком с разбега.

Связь ужасная. Девушка на почте крутит положенные "207", телефонистка в Усть-Коксе ее не слышит, это повторяется с десятков раз, потом девушка с жалобным смехом восклицает: "Василёк, Василёк, я Ромашка!", - мы хохочем, вспоминая что-то глубоко в нас записанное, военные мытарства дедов, недопустимо протянутые в будущее. Хожу на почту третий день. В первый - дозвонился до Москвы, все дружно поздравили: повезло! Везение, однако, кончилось. То - "звоните после 12 ночи", то - "с 12-ти дня": Москва, видите ли принимает с "ноля восьми".

Возвращаюсь, а бабушка сидит у окошка - кто пройдет-проедет? В деревне "не уйти от придирчивых глаз". У двери крутится бабкина кошка - шмыг за мной в комнату! Она вечно голодная: бросишь ей скорлупку от яйца печеного с прилипшим белком, слопает вместе со скорлупкой, бросишь хлеба подсохшего - хлеб сожрет.

- Бабушка, котятка из-под койки орут, есть просят...

- Ну дак пусть мать сосут.

- Она, видать, сама голодная.

- Ну, дак еще покормлю... Чо она ерепенится, работать надо.

- Мышку ловить?

- Ну. Мышку, птичку какую... Будешь уходить, никого тут не закрывай. Тут вот... (в смысле: я тут недалече) - и машет в сторону соседей, куда собралась.

- Вы, бабушка, вместо "чего" говорите "кого": "Никого не хочу."

Смотрит:

- Ну... Расеюха... (смеется). А кержачкие - чокают:

- Милка чо, милка чо,

Милка чокаешь почо ?

- Я кержацкого отродья,

Хоть и чокну, так ничо.

За те несколько дней, что живу здесь, я незаметно втянулся в бабушкин быт. Воду грею в ведре кипятильником, стираю в тазу, полощу в быстрой речке. Хожу в накренившийся туалет, где вместо двери - кусок звездного неба. Ем яишенку, поджаренную прямо у огня живого, в русской печке, запиваю оглушительным количеством жидкого чая. Никаких особенных разносолов! В магазине только хлеб да хмели-сунели; сахар дают иногда. Зато молоко отменное, киснет, правда, быстро - за холодильник дорого платить надобно. А уж сметана - прямо ядрена, ядерна! А буду хорошо себя вести, баба Дуня пшенки сварит или шанежков напечет. Редиски да зелени, да грибков соленых прошлогодних племянница подбросит. Меду достать можно, варенья из ревеня. Малина в огороде поспевает, картошка молодая скоро пойдет. А там, глядишь, на рыбалку съездить можно. Или один из хозяйкиных внуков хряка заколет. А сгущенку да халву я из Горно-Алтайска привезу. Вот и стол в Верх-Уймоне.

6

Соседи-кержачки провожали сына в армию. Пьянка-гулянка шла до ранних петухов. Сначала молодежь резвилась на шумной дискотеке, потом старики затеяли петь под гармошку. Частушки были пронзительные.

Бабушка сказывала, что соседка Ганя "в молодости страсть кака гуляшша была". Трепалась с разными мужиками, прижила без мужа семерых детей. "Надька - от Юрки мово, её муж Юрку до сих пор батей величат". Отцов насчитала как минимум троих. И все дети живут в одном доме!

Наутро опять собралась неуклюжая с виду деревенская молодежь, гулянка продолжалась.

- Бабка-то Чернова вчерась про свою Женьку рассказывала... (Бабка на гулянке) на стулу сидела, смотрела её (Женьку), смотрела, чо-то не видать, а она вон впрысядку плясать пошла. А потом веником, которым полы подметала, стала со стола сметать. Вот кержачка дак кержачка...

Судя по слышанным мною рассказам, использовать грязный веник для стола для староверов — недопустимо. Посуда у них делилась на три категории: добрая, мирская и

поганая. *Добрая* посуда в шкафу ставилась наверх, а *мирская* - вниз; *поганая* (вроде помойного ведра или для мытья полов) стояла в углу. Из *доброй* кадки в мирской стакан можно было перелить воду только добрым ковшиком.

- Я слышал, что одна уймонская бабуся солила огурцы, а камень, которым она собралась придавить крышку, выскользнул из рук и бухнул в помойное ведро. Брызги попали в кадку с огурцами. Говорят, все вывалила бабуся, не пожалела продукт!

- Ну... Раньше говорили: "Верить, так не лицемеря".

- Растворяются староверы потихоньку?

- Ну. Алтайцы всё к кержацким дочерям бегают, смотришь, бабки его в свою веру перекрестили, женился - и тоже стал кержак... И кержацкие бабы бегают трепаться к православным. И отмахиваются, мол, птичий грех!

- А как же обычаи строгие, староверские?

Смеется:

- Это ж природа! Против нее не попрешь!

- А раньше женились среди своих, по уговору?

- Ну, по уговору. Теперь- все перемешанны... Ой, ты, Господи, Господи, прости нас за грехи, - вздыхает бабушка.

- А какие у вас грехи?

- Ну, смеялась много, материлась... Однако, Бог простит, он веселых любит.

- Вот Ганя, соседка ваша, та грешница. Однако и её Бог простит - детей нарожала же.

- (Убежденно): Простит. Сколь живых душ произвела...

7

Дольний лог притягивает. Собираюсь в поход.

- Бабушка, я тут фляжку нашел.

- Это не моя. Баптисты всё ходили. Ополосни, сыночка, горячей водой, чтоб баптистом не пахло...

Я тронулся в путь из Верхнего Уймона по дороге на отгонные гурты и перевал Холодный. Уже порядочно поднялся по крутой грунтовой дороге, когда, сев передохнуть, услышал снизу конское фырканье. Подъехали двое, мужчина лет 30-ти, полный, крепкий, черноволосый, и подросток, еще не достававший до стремени. С ними бежали две собаки-близнецы, часто дышавшие: помесь овчарки и дворняги, с густой коричневой шерстью.

Конные остановились и поздоровались. "Это вы пешком поднимались?", - спросил старший, испытующе, с прищуром поглядывая на меня.

- Я...

Молчание.

- Побродить... У Южаковой, бабы Дуни живу. (Пауза). В вы с Верх-Уймона ?

- Ну, с Уймона.

- А здесь со скотом ?

- Ну. С баранами.

- У вас в седло все садятся такими ? - показываю на мальчика.

- Я дак рано сел, - сказал мужчина.

- До Белухи далеко ?

- Три дня пути на лошади...

Крепкие кони спокойно обмахивались хвостами. "Казахстанские лошади не выдерживают перевалов, - вспомнил я слова Юлиана Южакова. - А нашим - хоть бы что... Всю зиму тебенюют - копытом выбивают мох из-под наста".

- Как их звать ?

- Воронко да Серко.

- Приду на гурт - прокатиться дадите?

- Дадим, - ответили хором, и, тронув плеточкой коней, поехали на гору.

Я продолжал свой путь пешком и любовался окрестностями. Склоны гор поражали мощным разнотравьем и разноцветьем, ни разу не кошенным. Синие или белые цветы, ослепительные точно невесты, и желтые, и оранжевые "жарки" - здесь их зовут огоньками, и зеленые мощные "лопатки", и седые одуванчики.

Далеко раздался выстрел, покатилося эхо. Кедр, у которых я сделал привал, были стройны, изысканно-ветвисты, красовались блестящей шевелюрой длинных игл и сверкающей чешуей коричневой коры-кольчуги.

К семи часам вечера добрался до первой проплешины снега. Сгрёб пальцами влажный плотный комок, состоящий из льдинок, обтер им лицо, захрустел на зубах, проглотил талую студеною массу. И продолжил восхождение к перевалу.

Перевал Холодный представился мне как бы лбом бычка меж двух отрогов. Покатый "лоб" покрыт мхами и жестким, низким (по щиколотку) кустарником с ярко-зелеными овальными листьями. Решив осмотреться, я вскарабкался на левый "рог", крутой склон которого был покрыт травой и альпийскими цветами, которые при подъёме сменились камнями в пятнах лишайника и, наконец, голыми скалами.

Вершина «рога» оказалась острой как лезвие топора; налево видна была Уймонская долина с уютными дымками деревень, с серой лентой Катуня, направо — снежные шапки гор, *белки*. Вниз я спустился по крутому оползню. Дикий лук-батун! Да много! При еде он горчит и обжигает рот. Нарвал лука на ужин; Устроился на господствующей высотке, утопая

во мхах и кустарниках вида жестких водорослей. Открыл флягу с талой водой, достал хлеб, крупную соль, два печеных яйца из бабушкиной печки. А здорово я проголодался! Передо мною расстилались альпийские луга; далеко впереди-внизу по зелени перемещались светло-желтые точки. Доносился звон колокольчиков. Коровы! Если найду гурт - будет мне молоко и ночлег.

Птичьи звуки сопровождали меня всю дорогу. Птицы здесь большею частью мелкие и средние; на скалах я видел дикого голубя, серого, с красивым хвостовым оперением. В лесу мимо меня бесшумно пронеслась крупная птица и скрылась в бородатом ельнике. На перевале путь пересекли два диких гуся. Временами представитель орлиного семейства бесшумно кружил над головой.

...Господь оказался милостив ко мне. Ночь, чуть ниже перевала, у первой троицы деревьев (лиственницы, укрывшей кроной и широким стволом от дождя и ветра, и двух кедров поодаль) прошла волнительно поначалу, а потом все спокойнее. Костер, сухо пышущий теплом, грел без лишних искр; дым сносило вниз, к долине. Обзор во все стороны был широк. Звезды мирно и далеко мерцали над головой; по краям небо затянуто было облаками. Вскрикивали ночные пичуги; однажды сверху-издалека донесся лай собаки и стих. Подбрасывая мелкие сухие ветки, я прочел несколько изречений Агни-Йоги.

6.25. Восход солнца. Поднимаюсь по левому склону ущелья - выше линии, отмеченной пятнами снега, по камешкам, между струйками талой воды, вослед за следами копытных животных. По противоположному зубчатому краешку скал разливается свет. Он имеет центр, от которого лучами расходятся следы перистых облаков. Склон выше меня окрасился светом; долина внизу полна "свежей мглой". Свечение в "центре" усиливается, концентрируется, и вот, наконец! спутать невозможно! - появился четко очерченный край слепящего диска. Выражение "упал первый луч" не подходит: свет как бы рассеян, зато диск виден отчетливо. Часы показывают 6.32. Я делаю несколько снимков, за это время солнце успевает показаться полностью. Встаю на колени, как это делают буддисты на картинах Рериха, и, с внутренней насмешкой над собой, но все же повинуюсь нарастающему желанию, кланяюсь низко трижды, касаясь лбом холодного плоского серого камня. Встав, раскидываю руки в андреевский крест, складываю их медленно и произношу ОМ на манер индусов. Не торжественно мне, но удивительно хорошо, благостно.

Коровы зазвенели колокольчиками, птицы запели свои утренние гимны светилу, рассеявшему ночь; все чисто, празднично, широко и невесомо в этом родном для меня мире. Между скал полукружьем встала радуга. Беру посох, обожженный ночным костром, и, медленно переставляя ноги, бреду азиатским сухим путем к перевалу. Воздуха как бы не чувствуется. Душа находится в состоянии разнеженности.

7.03. Искать, искать слова. Я пою восторженную песнь альпийскому лугу - широкой наклонной плоскости, обрамленной сухими каменными стенами. По светло-зеленой поверхности, местами желтеющей жарками (они лишь вблизи оранжевы), разбросаны неровные пятна низкого кустарника, точно неловкая хозяйка оставила пятна растекшегося темно-зеленого теста на нежно-зеленой сковородке. Пейзаж прямо-таки исландский, северный; его разнообразят звуком и цветом алтайские коровы - желтые, коричнево-белые, пятнистые. Когда я начинал свой подъем, коровы лежали на лугу кругом, теперь же ожили, побрели, зазвенели колокольцами, начали вольготную трапезу. Луг золотится жарками. Луг - горит ими.

Сижу на траве, взираю полого вниз; передо мною - километры перспективы. Я пишу кистью этот утренний мир. С перевала тянет ледяным дыханием.

Оборачиваюсь тысячу раз. Не могу напиться этим местом. Ликование. Благоговение. Хвала Господу...

8

Сверху, с перевала, я приглядел один симпатичный кряжик, который показался мне идеальным местом для строительства Философского центра. Оттуда открывался чудесный вид на долину. Холмы мягких очертаний, омываемые Катунью, украшены были густым лиственным лесом.

Возвращался я в отличном настроении, но немного побаивался встречи с бабой Дуней, поскольку уходил на день, а прогулял два. Старуха, завидев меня, всплеснула руками:

- Явился, не запылится! - и ушла в избу сердито греметь сковородками.

Юлиан Андреевич помолчал для серьезности, потом произнес укоризненно:

- Ты, это, Александрович, пошел бы к бабушке, извинился. Она перепугалась из-за тебя...

Я побежал в избу:

- Простите, бабушка, так уж вышло. Далеко забрел.

- Далёко! Тебя там мишка задрать мог..

- Не, я костер развел. А наутро на дойный гурт вышел.

- На дойный? Кто там нынче?

Я рассказал.

- Сказывал, у кого живешь? Оне меня все знают, - произнесла бабушка, смягчаясь.

- Я все эти гурты объехала, - продолжала она. - Другой раз повезешь на лошади еду на гору, страшно медведей... А в войну беглые солдаты бандитствовали. Я одной говорю: не вози, Пелагея, муку одна, бандиты отберут. И отобрали. Потом их поймали... Я говорила с имя: "Чего вы добились? С фронту сбежали, а наши там головы кладут..."

- Страшно, что сено они жгли, хлеб жгли: это народ возмущало до крайностей, - добавил Юлиан.

- Можно представить, как они были ожесточены, эти солдаты...

Наш разговор прервал маленький Сашенька. Он возник в дверях, весь запыхавшийся, но увидев меня, засмутился, застыл на пороге.

- Правнучек мой, Сашенька... Проходи, проходи, милый.

- Бабушка, я есть хочу.

Потчевали Сашеньку чаем с молоком, хлебом с маслицем мягким из банки да яйцом печеным. Ел жадно, запихивая еду в рот пальцами, часто дышал, захлебнул-захлебнул чаю и :

- Все, бабушка, меня ждут! - умчался.

С тех пор, когда встречал меня, задумчиво идущего по улице, кричал:

- Дядь Сережа, здрасьте!

Улыбался - светился. Носился в одних шортах, босиком по пыли и навозу: то на велике, да так - пригнувшись, с резким стартом, губы сжаты, глаза горят, - а то запрягал в сбрую кого из мальчишек, или просто пускался наперегонки: резкий, быстроногий, всех обходил, пятки так и сверкали! Плечо и грудь у него были обварены кипятком - страшная большущая отметина.

- Я ласкова к ребятам, - сказала баба Дуня, проводив Сашеньку. - Оне меня все как-то уважали: мама стара, мама стара...

- Андрей, сын Юрия, все со мной спал. Приехали как-то в Коксу, к ним домой, он лег с отцом. Юрий спрашивает: "Ты чо, сынок, не спишь-то, все крутишься?". А я услышала, говорю: "Андрюшенька, иди ко мне". Гляжу, припорол мой Андрей. А потом уж, я уехала, привык, с отцом стал спать.

- А я, - хохотнул Юлиан, - взрослый был уже, на коне через Катунь сколь раз к матери обедать ездил...

- Раньше-то хозяйкой была, - затосковала старуха, - всегда что-то вкусное было. Ребятёшки прибегут, сразу под занавеску: там шанежки, пельмени.

Как утешить ее?

- Васичка Ленский, племянничек, хочет, чтобы меня к себе Юлиан в Коксу забрал, а он в мой дом въехал. Наговорил чо попало, будто все мать бросили. Председатель сельсовета как поехал в Коксу, зашел к Юлиану - вы что за матерью не смотрите? А это Васичка наговорил. Я ему сказала - строй себе дом сам.

Обижается бабуля: воспитывала-воспитывала, столько внуков и правнуков, а в гости к ней ходят редко, многие и вовсе забросили. Разве что племянница Люба молочка,

хлеба принесет, по субботам внучка Оля полы помоеет, сын Юлиан покосит-потяпает, и правнучек Сашенька теперь каждый день заскакивает: "Бабушка, есть хочу!"

...Так и жили мы с бабой Дуней, коротая время в разговорах да хлопотах по хозяйству. Думал я погостить подольше, послушать дивные её рассказы, но уехал неожиданно скоро: позвали московские дела. Не успела она и шанежков напечь на дорожку. "Поклонись Расее от бабушки Дуни. Да напиши, как доехал..."

Скрипнули ворота - бабка вышла провожать. Вглядывалась напряженно, увидела, как я машу из машины, махнула слабо в ответ. И пошла в избу одна-одинёшенька.

* * *

Зимой я получил весточку от Евдокии Михайловны, написанную ее внучкой Олей. "Приезжайте, Сергей Александрович, бабушка вас любит. И боится, что не успеет свидеться, больно уж плохо у нее со здоровьем стало".

Обещал я приехать, но дела завертели-закрутили... А позже узнал от Юлиана Андреевича, что Евдокия Михайловна умерла. Приезжал я летом в Верхний Уймон поклониться ее дому... да слишком уж жива баба Дуня в моей памяти. Так и слышу:

- Кушай, сыночка, яичко-то печено...

Вы, наверное, догадались, читатель, что я не поведал ей о своей затее с Мировым центром космической философии... Не решился.

1992-1994

Верхний Уймон - Москва